

ВОЙНА И МИР К. Н. БАТЮШКОВА

К 200-летию со дня рождения поэта

— А вот гора, которую Батюшков штурмом брал, — сказал мне Эрки Пеуранен, доктор всевозможных наук, профессор, известный финский специалист по истории русской литературы.

Гора была впечатляющая: гранитные глыбы, сосны, а сверху снежок: дело-то шло к зиме, а зима в Финляндии — кто же не знает! — лютая. Покарабкались мы по горе, которую Батюшков штурмовал: труднехонько. А если представить себе, что от вершины и до подножия она была изрыта шведскими укреплениями, из которых по шедшим на штурм залихватски палили пушки да ружья, Батюшков сразу же станет похож на одного из множества офицеров Великой Отечественной: взятие какой-то заданной высоты стало в нашем сознании просто-таки канонической ситуацией. И в песнях она воспета, и в мемуарах воспроизведена — в тех, разумеется, случаях, когда бравшие высоту могли писать мемуары, а то бывало и так: высоту возьмут, а писать мемуары уже и некому.

После штурма живописной финской горы в июне 1807 года Батюшков был тяжело ранен в ногу. Все офицеры его батальона тоже были ранены, один убит. Поэту только-только исполнилось двадцать лет. Два-дцать!

Снова и снова встречаясь с рассуждениями, просто-таки с выкриками о стремительных, даже якобы бешеных темпах XX века, я чувствую в них какую-то опрометчивую надуманность, и чем больше нервозности в них, тем меньше им верится. Конечно, от Москвы до Тбилиси, до Тифлиса по-старому, долетаем за два-три часа, беспечно перелистывая ярким факелом возгоревшийся ныне отважный журнал «Огонек» или озабоченно обгладывая крылышко тощего аэрофлотского курчонка, в то время как современникам Батюшкова, Пушкину или Лермонтову, на подобный вояж требовались полные смертоносных опасностей недели, если не месяцы. Тут наше превосходство в темпах неоспоримо.

Но можно ли представить себе такого поэта XX века, который за десять, всего лишь за десять лет промчал бы путь от поэмы «Кавказский пленник» до «Повестей... Белкина», то есть от буйного, уверенного в себе романтизма до прозы, ориентированной на доподлинное, будничное, обыденное? Такого поэта представить себе невозможно. Я вообще не ощущаю поэтической,

художественной эволюции даже лучших современных поэтов, не говоря уже о том, что я не могу припомнить поэта или писателя, который отрицал бы, отбрасывал бы себя вчерашнего, на обломках отринутого строя последующее. Переломы, внутриличностные революции — такого у нынешних не бывает. Изменилось наше художественное сознание за последние полвека, положим? А для XIX столетия его изменения были нормой поэтической жизни: изменяюсь, следовательно, существую. Темпы внутриличностного роста были такими отчаянными, что мы кажемся просто какими-то духовными тихоходами.

К двадцати годам Константин Батюшков уже ясно определяет свою поэтическую, литературную позицию: он — с обновителями языка, стиха, стиля, жанров. Ода или элегия? Мирнейший, казалось бы, жанр элегии обнаруживает внутреннюю воинственность: элегия противопоставляется оде, потому что элегия личностна, и смысл ее в признании за человеком права на бунт даже против вечных законов природы. Элегия возникает там, где мы выражаем желание заведомо неосуществимое, явно несбыточное: преодолев какие-нибудь невероятнейшие пространства, прервать разлуку или, победив время, вернуть себе молодость. Но время необратимо, отсюда и особая грусть элегии — грусть, с которой русская поэзия вступала в XIX век. И была эта грусть чем-то невиданно новым: индивидуальное «я» осмеливалось заявлять о своих притязаниях, личность отделялась от единообразного множества, а это было опасно, зане вольнодумством попахивало. Поэт начинается с элегий.

Как они успевали? Когда? Каким образом вмещалось в жизнь русского интеллигента начала прошлого века столько знаний, увлечений, литературных начинаний, воинских подвигов, дружб, любви и, наконец, веселых полемических выходов, литературного озорства, мистификаций и маскарадов? Батюшков чудом остается в живых. Вырвавшись, если выразиться романтически, из хладных объятий смерти, он пишет презрительную поэму «Видение на берегах Леты» (1809). Новое в ней дерзновенно прощается с прошлым, отвергает его: Батюшков кануна Отечественной войны 1812—1814 годов живет, видимо, в том особенном состоянии духа, которое нисходит на убежденных в своей правоте новаторов в пору преодоления ими доктрин и догм недавнего прошлого, когда открываются перед ними новые горизонты. Очищаясь, Батюшков отважно хоронит в реке забвения своих литературных противников, а в позитивной программе его — сосредоточение в творчестве, скромность, устройство мира, где достигнута гармония цивилизации и природы, серьезного и забавного, умиротворенного и деятельного («Мои Пенаты»). Но полностью открывается Батюшков в пору Отечественной войны и немного позднее, и открывается он как, я сказал бы, литератор-конспект, в сжатых, в эмбриональных

формах, в формах наброска, прогностической реплики, предуказавший немало решающих моментов русской литературы.

Уже в дружеском письме двадцатилетнего офицера есть продуманная установка на воспроизведение изнанки войны, ее прозы, смешного, нелепого, которое сопутствует героическому: здесь уже брезжит тот тип восприятия войны и военных событий, которым будет жить баталистика Полежаева, Лермонтова да в конце концов и Л. Н. Толстого. Но вполне просматривается Толстой в небольших фрагментах 1817 года «Из записной книжки». Герой 1812 года Раевский высказывает там прямотаки толстовские трактовки войны: «Из меня сделали Римлянина... из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли... Провидение спасало отечество». И здесь же Раевский рассказывает эпизоды из Бородинского сражения, низводя патетические легенды к реальным боевым происшествиям, полным забавных деталей. А картина исхода из Москвы ее жителей, начертанная в послании 1813 года «К Дашкову», — эпическая сторона романа Толстого: бегущие толпы, пожарища. И по «Москве опустошенной» бродит одинокий поэт, не духовный ли он двойник, не предтеча ли он Пьера Безухова?

Полноценной творческой жизни поэту отпущено было 10—12 лет, и в течение их Батюшков создавал какое-то хранилище сюжетов, характеров, новеллистических разработок, которые в русской литературе XIX века разрастались в эпические полотна, в нравоописательные сцены, в социально-психологические романы. Батюшков ощущал необходимость комедий, с которыми, будто по слову его, выступили сначала Грибоедов, а затем и А. Н. Островский: «Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный... Москва идет сама собою к образованию... Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды». Батюшков уже прозревает так называемую грибоедовскую Москву, Москву Фамусова, Скалозуба, Молчалина.

И приятель наш Илья Ильич Обломов у Батюшкова проглядывает: «Всю жизнь провел он лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно было, душевном». Но это не об Обломове сказано, а о предшественнике его, одном из «оригиналов Московских». В этюде «Похвальное слово сну», написанном в 1809 году все в той же Финляндии, — смешная апология лени и безмятежного сна. «Наш оригинал был совершенный царь своей постели. Целый день он лежал то на одном боку, то на другом... Способность спать во всякое время есть признак великой души... Сон есть признак великого духа и доброй души. Доброй души — ибо сонливый человек не способен делать зла, которое требует великих усилий, беспокойства и беспрестанной деятельности». И не будем вдаваться, вязываться в кипучие

споры о том, хорош или плох Обломов. Не о нем нынче речь, а о Батюшкове. А уж он-то хороший: и Л. Н. Толстого предвидел, и И. А. Гончарова за полвека до их появления. Не говорю уж о Пушкине: издавна известно, что «Медный всадник» начинается переложенной в стихи прямой цитатой из Батюшкова; присутствует Батюшков и в романе «Евгений Онегин». А в чем-то прозрел он и наши заботы, надежды, сомнения.

Пересматриваются и уточняются ныне трактовки всевозможных индивидуальных судеб, идейных течений и поэтических направлений. Пересмотрена и репутация сентиментализма; во всяком случае, наиболее дальновидные наши литературоведы начали ее пересматривать. И правильно они поступают, ибо очень существенное это было литературное направление: сен-ти-мен-та-лизм. И очень оно актуально сейчас: безусловная ценность личности на фоне каких угодно великих свершений, потому что человек есть цель, а не средство этих свершений, благоговение к чему бы то ни было живому — все это и жизненно, и насущно. Некорректны споры о том, к какому литературному направлению «относится» тот или иной поэт, литератор; поэты создают направления, растут вместе с ними, а не входят в уже готовые статичные рубрики. У Батюшкова был и реализм несомненный, был романтизм. Но прежде всего Батюшков развивался вместе с русским сентиментализмом, явлением светлым, глубоким, хотя, разумеется, и неоднородным.

Был у нас Батюшков...

Батюшков солдатского героизма и солдатской обыденщины...

Батюшков умиротворяющей поэзии отдыха, созерцательной, добродушной лени...

Батюшков, предсказавший «Горе от ума» Грибоедова, «Медного всадника» Пушкина и трагически обезумевший в начале нового этапа своих неустанных исканий и художественных находок...

Батюшков, знавший цену и прозы войны, и поэзии мира...